Янина Салайчикова

Человек и история в современной советской прозе: В. Максимов, Ю. Трифонов, Ю. Домбровсий, А. Битов

Studia Rossica Posnaniensia 23, 115-123

1993

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.



ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЕ: В. МАКСИМОВ, Ю. ТРИФОНОВ, Ю. ДОМБРОВСИЙ, А. БИТОВ

MAN AND HISTORY IN THE MODERN SOVIET PROSE: V. MAKSIMOV, J. TRIFONOV, J. DOMBROVSKI, A. BITOV

ЯНИНА САЛАЙЧИКОВА

ABSTRACT. The author shows that new Russian literature decisively tends towards demyth ologization of the consciousness of the Soviet society which finds its full expression in particular in the modern Russian psychological-moral prose.

Janina Sałajczykowa, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza, Polska-Poland.

"Не первый раз, мечтая о свободе Мы строим новую тюрьму" М. Волошин

Мотив "человек и история" часто становился предметом изображения в литературе послереволюционного времени. В нем очень отчетливо ощущались многочисленные "перегибы" в отношении к прошлому в его различных аспектах.

Литература, оставаясь в связи и зависимости от исторических наук, вместе с ними подвергалась различным и часто меняющимся интерпретационным тенденциям, вдохновлялась установками и прямыми директивами на счет отбора личностей, времен и событий достойных художественного отображения.

Позиция исторических наук как инструмента политики и идеологического воздействия влияет и на то, что актуальные для данного "момента" стороны прошлого и настоящего становились особо важными и значащими.

В сознании общества укреплялась и литературно иллюстрировалась идея необходимости насилия как "повивальной бабки истории", идея, которая подчиняла себе все и все могла оправдать, ничего необъясняя. Распространялась концепция безжалостной "воли времени", которой следует подчиняться во имя исторического развития. Человек же поддавался нажиму истории, чтобы стать "новым", чтобы измениться согласно "воле времени" для "светлого будущего".

Инструментальность исторических наук вела к полной или частичной фальсификации равно, как образа прошлого, так и современности, к полуправдам, умалчивании о неудобных явлениях. Все это создавало благоприятную почву для мифологизации образа процесса истории, формирования желаемых стереотипов в историческом сознании общества.

В этом процессе немаловажную роль сыграло искусство. Литература, а потом кино, благодаря широте воздействия, формировали и закрепляли в сознании общества многие стереотипные представления о характере общественного развития. Примеры своеобразно "свободного" отношения художников к правде истории содержат многие произведения – напр. А. Толстого (образы Сталина и Троцкого в Хлебе и трилогии), К. Федина (Необыкновенное лето – образ Ф. К. Миронова).

Литература активно участвовала в том, что современный исследователь определяет как "идеологическую терапию, смутившую народную душу". Она сама стала органической частью грандиозного самообмана сталинской эпохи, этого "нравственного обезволивания идеологическим гипнозом и самогипнозом"¹.

Торможение этой тенденции началось после 1953 года, но и в период оттепели далеко не все было досказано до конца. Категория "селективной памяти", эвфемистические определения сложных явлений жизни еще на десятилетия деформировали образы прошлого и определяли семантику мотива "человек и история".

Однако стремление к демифологизации исторического сознания, несмотря на сопротивление эпохи, все чаще находило отражение в литературе, хотя ее сторонники часто платили за эти попытки высокую цену: от разгромных статей в печати до изгнания за рубеж или вынужденного молчания. Достаточно вспомнить судьбы А. Солженицына, Варлама Шаламова, арест книги Жизнь и судьба, перипетии с воспоминаниями Надежды Мандельштам.

Однако вопреки всему категория исторической памяти, понимаемая и реализуемая равно как в плане истории общества, так и культурной традиции, духовной эстафеты поколений, передачи фундаментальных нравственных ценностей, все же утверждалась в литературном процессе. С ней тоже соединяются наиболее интеллектуально и художественно значимые произведения современной прозы.

Иное семантическое наполнение получает со временем мотив "человек и история". В 30-50-ые годы в его литературном решении преобладает мысль о подчинении человека процессу событий и его радостном участии в ломке старого и строительстве нового мира. Причастности

¹ И. Клямкин, Почему трудно говорить правду? Выбранные места из истории одной болезни, "Новый мир" 1989, № 3, с. 225, 229.

к процессу истории придается форма романтического и творческого порыва при отсутствии ощущения конфликтности, противоречивости.

У этой тенденции были свои реальные корни: появление в общественном процессе новой человеческой волны тех, которые "не успели обрести сознания своей личности", которые поверили, что они творят историю и утверждали это "своей жизнью, в которой прошлое было отвергнутым, не было настоящего, ибо оно приносилось в жертву будущему"².

Начиная с 60-х годов, все чаще "хрусту человеческих костей", переламываемых колесом истории, который так часто описывала литература 30-х годов³ концепции исторической необходимости противопоставляется субъективное видение человека, подход к истории с точки зрения личности, которая не хочет согласиться с распространенным мнением о том, что "революция всегда права" и которая вступает в борьбу за сохранение своего достоинства, своего суверенитета, свободы быть индивидом, наконец. Герои литературы не отвергают своей причастности к истории, но все чаще не согласны участвовать в ней на правах "перегноя" и "винтика в машине". Все чаще внимание писателей задерживается на персонажах морально деформированных вследствие своего согласия на опредмеченность существования, на атрофию гражданственности, подчинение, на несвободу.

История сейчас совершается в человеческой судьбе, в этической позиции, воспринимается как связь с традицией или ее отсутствие, как культурно-духовные корни.

Человек в процессе истории, несмотря на все "необходимости", сам тоже что-то решает, что-то выбирает, за что-то несет ответственность. Отсюда то значение и вес, которые появляются в интерпретации мотива понятия совести, вины, предательства, верности, личностной свободы.

Литература – лучшими своими проявлениями – способствует процессу демифологизации общественного сознания в двух планах: сознания читателей и сознания литературных героев.

Потребность постижения правды истории осуществлялась в первую очередь в раскрывании сущности тоталитаризма — его корней и специфики на почве советского государства, его социальных, нравственных и культурных последствий.

Человеческие судьбы в этом контексте чаще, чем когда-либо прежде, приобретают трагическую окрашенность, иначе расставляются эмоционально-оценочные акценты, богаче становится типажность персонажей, разнообразнее историко-социальные обстоятельства их судеб, диапазон их взглядов, идей, мироощущения. Мотив "человек и история" — это сейчас "историческая буря в свете конкретной человеческой судьбы"⁴.

² Там же. 228.

³ А. Латынина, Договорить до конца, "Знамя" 1987, № 12, с. 211.

⁴ Там же, с. 213.

Этот тематико-проблемный комплекс с трудом и медленно пробивал себе путь в литературе, преодолевая острое сопротивление внешних и внутренних факторов. Часто неизбежными оказывались компромиссные решения, использование фигур умолчания, аллюзий, ограничения, охвата явлений и т.п.

К наиболее значащим произведениям этой темы "доперестроечного" периода (опубликованным в СССР) следует отнести Один день Ивана Денисовича, На Иртыше, Соленую пядь, Хранителя древностей, произведения Ю. Трифонова.

Самое глубокое и полное отражение мотива дает современная психологически-философская, проза. Именно на территории этой жанровой разновидности появились произведения наиболее значительные по охвату действительности, широте художественного взгляда и философской насыщенности.

Полный внутреннего динамизма вариант мотива создал Владимир Максимов в романе Семь дней творения (1971).

Герои романа – рабочая семья Лашковых – принимают участие в процессе истории на протяжении почти пятидесяти лет советской власти, переживая вместе со всем обществом экстремальные ситуации. Таким образом их судьба становится отражением судьбы народа. Испытания, через которые проходят три поколения героев – детей своего времени, их размышления и оценки в конечном итоге формулируются как главная идейная сентенция романа: убеждение в разрыве между идеалами революции и их осуществлением. Все герои переживают драму самообмана, ощущают гегелевскую "иронию истории", когда идеал превращается в свою карикатуру. Лашковы с изумлением присматриваются, а часто также участвуют, в осуществлении "исторических моментов", когда разрушаются межчеловеческие связи, попирается человеческое достоинство, поощряется конформизм и предательство, страх же становится неотъемлемой составной частью жизни. То есть, когда "происходит невиданное в истории выкорчевывание нравственных основ народа"5.

Герои Максимова из своих контактов с историей выходят искалеченными, потерявшими иллюзии "светлого будущего". Но некоторые из них прозрели и открыли для себя мир иных ценностей. В судьбе Петра Лашкова, патриарха рода, Максимов указывает на шанс спасения – включение в иную, чем созданная революцией, общность, включение в "целое значимое и великое" веры и нравственного идеала, где любовь к ближнему, милосердие, умение прощать и радость свободного труда определяют сущность человеческой жизни.

⁵ В. Шубкин, Трудное прощание, "Новый мир" 1989, № 4, с. 178.

История семьи Лашковых обнажала сверхидею романа: попранный человек – угнетенный или угнетающий – это не существенно, ибо оба они одинаковы в своей попранности через отчуждение от веры⁶.

Именно эта идея лежит в основе историозофической концепции романа и объясняет конверсию Петра Лашкова на пороге "седьмого дня творенья", как итога его жизненного опыта. Здесь же Максимов с особой силой подчеркивает социально-регулятивные функции общечеловеческой и христианской морали и драматические результаты их насильственного устранения из жизни общества.

Этот круг размышлений и идей определил к проблематику следующего романа Максимова — *Карантина* (1973) с выдвинутыми на первый план мотивами исторической судьбы России, человеческого страдания, искупления и покаяния.

Мотив человек и история составляет основной элемент структурно-идейной сферы прозы Ю. Трифонова.

В Отблеске костра писатель заявил:

"На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть шевелится, но он существует на всех. История полыхает, как грандиозный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост"⁷.

Слова эти - ключ к пониманию трифоновского историзма.

В истории писатель ищет причины современного состояния вещей и источников человеческого поведения, причины этой релятивистской нравственности, которая оборачивается духовной манкуртизацией, внутренней инертностью, согласием на жизнь в кругу готовых идей, потерей идеалов. Писатель упорно и последовательно ищет корни этого положения вещей, поднимая, как археолог, все новые пласты и наслоения не земли, а времени. Идет от современности к году 1949, потом 1937, 1919-21, к 70-ым годам прошлого века. Так постепенно и логично складывается его историческая концепция современности, его понимание "связи времен", неумолимой цепи причин и следствий. С этим связан поиск ответа на вопрос: "почему мы стали такими?" Вопросу этому сопутствуют рефлексии на тему вины, совести, нравственной ответственности, которой не снимают с человека никакие обстоятельства.

Как результат авторского пристального анализа поведения человека в процессе истории явится демифологизация ходячих убеждений о том, что "всему виной было время".

С проблемой вины и ответственности в истории связано разрушение Трифоновым иного стереотипа, более нового по происхождению: жертв

⁶ Н. Антонов, Крест и камень, "Грани" 1974, № 92-93, с. 297

⁷ Ю. Трифонов, Собрание сочинений в 4-х томах, т. 4, Москва 1987, с. 7.

и палача. Писатель доказывает, что и жертвы истории внесли свой вклад в строительство тоталитаризма.

В этом плане особо драматично начерчена ситуация "паралича воли", которому подвержены герои последнего произведения Трифонова Исчезновение. Это ситуация, которая завершается согласием на смерть в убеждении, что молчанием и подчинением тирании спасается чистота идеи. Трагическое звучание приобретает здесь пронизывающая судьбы многих героев мысль о "нетерпимости, которая рождает нетерпимость", о согласии на подавление каждой инакомыслящей личности или группы людей.

Мотив человека и истории решается Трифоновым в широком тематическом диапазоне. Здесь и драма поколения, которое утеряло нравственные ориентиры и подчинилось полностью политике и требованиям "момента истории" и драма подчинения человека готовым идеям, духовного измельчания, бегства от ответственности и самоопределения, и сравнение современности в мелкоте и заземленности ее помыслов с идеалами прошлого.

Если Максимов и Трифонов подчеркивали деформацию человека в процессе истории, пассивность героев, то Ю. Домбровский (*Хранитель древностей*, 1969, *Факультет ненужных вещей*, 1976) ставит в центр своих произведений ситуации сопротивления насилию тирании. Внимание писателя сосредоточено на таких аспектах мотива, как соотношение человека и власти государства и личности, на осознании опасности, которую несет в себе идея "необходимого насилия" как средства достижения целей и потом опоры государства. Автор рисует ситуацию, когда насилие из *Ultima ratio* превращается в средство широко применяемого воздействия.

Оппозиционно по отношению к идее насилия писатель помещает такие понятия, как свобода личности, верность незыблемым моральным принципам, уважение человека к закону и закона к человеку, т.е.вопрос о значении правовых основ жизни общества.

Эта оппозиция определяет идейную доминанту прозы Домбровского. В ней подчеркивается сращенность с определенной культурой иисторической традицией (общеевропейской), ощущение связи с прошлым, понимаемым как явление живое, экстраполирующее в будущее.

Поэтому источником зла писатель считает уничтожение корней и высокого духовного и гражданственного начала в человеке, отрицание межчеловеческих и культурных связей, выбрасывание на "свалку истории" универсальных принципов морали и ограничение ее рамками классового интереса и требованиями "момента".

Сущность этого противопоставления, его морально-социальные последствия и импликации — это предмет размышлений героев и повествователя. Причем вопросы эти рассматриваются в прозе Домбровского процессуально, в контекстах прошлого, настоящего и будущего.

История становится как бы личным делом каждого человека, он же – частью ее тысячелетнего процесса, но частью активной физически и духовно.

Мотив человека и истории в творчестве Домбровского функционирует еще в дополнительном — документальном или автобиографическом — измерении. Личные, особо напряженные и острые соотношения художника с историей определяют глубину диагноза болезней эпохи, содержащегося в романах. Личное к тому же получает здесь универсализирующее значение. Мысль эту подкрепляет наличие в ткани произведений отсылок — более или менее явных — к фонду духовного опыта человечества, запечатленного в разных письменных памятниках, к профессии героев, обращением к историческим аналогиям⁸.

Благодаря многослойности архитектоники произведений, исследование ситуации человека в системе тоталитарной диктатуры, абсолютной власти насилия над законностью, которое содержится в них, приобретает ранг историозофического обобщения, в котором немаловажное место занимает определение этического идеала. Не скрывается также цена, которую приходится платить за его утверждение.

Иную ситуацию личности в истории демонстрирует роман А. Битова Пушкинский дом (1976). Битов указывает крушение человека историей, но процесс этот совершается как бы незамеченным героем Левой Одоевцевым, ибо он уже третье поколение, испытывающее на себе нажим тирании истории, он уже генетически не способен на сопротивление. Несломленным оказывается лишь дед — Модест Одоевцев, отец и внук уже лишь "продукты обработки историей".

Битов подчеркивает обобщенность процесса упадка русской интеллигенции, упадка, вытекающего из потери свободы, из создания мира без разности человеческих потенциалов, мира, который оказался бездуховным, узким и тесным.

Драматизм последствий потери обществом своего "верха" и "низа", демагогия лозунгов популистического эгалитаризма иллюстрируется образами Левы и Митишатьева — полностью детерминированных временем, которое является равноценным с героями предметом изображения в романе, временем, о котором Битов говорил, что это было "время, когда ничего не говорилось из того, что происходило", а "исторические последствия были таковы, что все стали изгнанными из общества"9.

Как личность, Лева инертен, поражен атрофией чувств, не стремится к независимости суждений. Он пример распостраннего варианта конформиста, лишенного желания бунта, внутренне несвободного. Жизнь и су-

⁸ И. Штокман, Стрела в полете, "Вопросы литературы" 1989, № 3, с. 101.

⁹ В поисках реальности. Интервью с А. Битовым, "Литературное обозрение" 1985, № 5, с. 47.

дьба Левы уже не драма, а скорее жалкий фарс, но тоже порожденный историческими обстоятельствами.

Выбор такого героя объясняет во многом ту интонацию иронии, которой пронизан весь роман. Ирония и пародирование достигат своего апогея в сцене бегства Левы с Сенатской площади от милиционера и в сцене дуэли с Митишатьевым.

Наблюдения над произведениями писателей разного жизненного опыта, поколений и видения мира: профетизм Максимова, аналитическая точность Ю. Трифонова, гражданственность Ю. Домбровского и горькая ирония А. Битова — позволяют сделать не только отдельные, но и обобщающие выводы относительно этой линии прозы в целом.

На уровне проблематики отметим концентрацию внимания на нравственных аспектах сношений человека с историей и связанные с этим мировоззренческие проблемы. За человеком признается ответственность за его поведение в историческом процессе, активизируются понятия вины и наказания, совести в их философском осмыслении.

Конфликты, как правило, переводят личное, единичное в общечеловеческий план. Они отличаются многослойностью, своеобразной "полифоничностью". Реляции человека с историей рисуются как конфликтогенные и противоречивые.

Конфликты отражают и исследуют системность окружающего мира, а не только отдельные факты и явления.

Характерной для конфликта в этой линии прозы является тоже его частая пароболизация, т.е. ,,придание ассоциативно-временной нагрузки, осложнение образно-смысловых возможностей"¹⁰.

В плане изображения героев отметим их многообразие (поколения, социальный статус). Общая черта — своеобразная ущербленность историей в разной степени осознанная несовместимость со временем. Особо подчеркивается дело уничтожения духовного человека и доминация человека биологического и социального, в процессе разрушения ощущения гражданственности в обществе.

Оттенок особой достоверности придает судьбам ряда героев их психологический автобиографизм. Пожалуй, можно говорить и о "автопсихологическом герое" (Л. Гинзбург), напр., у Домбровского, Максимова, с которым авторы связывают многие свои мысли и убеждения, а порою и факты биографии.

Произведения этой линии отличаются высоким уровнем авторского исторического и морального самосознания, а также самосознанием героев. Обращение к прошлому здесь функционирует как несогласие на

 $^{^{10}}$ А. Подгрибный, Художественный конфликт и развитие современной советской прозы, Киев 1981, с. 171-172.

запрет правды истории. Отсюда и отказ от обязательной дидактики и идеологизации образа мира и его оценок.

Четкие очертания приобретает зато демифологизирующая ориентация по отношению к стереотипам тематическим, проблемным и ситуационным.

Значимости и сложности уровня содержания сопутствует значимость уровня выражения. Отметим сложную архитектонику представленного мира, разнообразие повествовательных приемов, интеллектуализацию сферы содержания, ее насыщенность рефлексиями исторического, нравственного, социального, религиозного планов. Этому способствует ассоциативность конструкции произведений на уровне образов, мотивов, идей, что, в свою очередь, значительно раздвигает их временно-постранственные рамки.

Широк и репертуар средств экспрессии – от сатиры и пародии до символа и аллегории.

Личностный аспект видения истории привел к углублению психологизации, реализуемой широким репертуаром приемов, что позволяет проникать вглубь психики и сознания героев, указывать разнообразие эмоциональных ситуаций, мотивировок и решений.

Эта линия современной прозы, что и пытался доказать автор, особо значительна интеллектуально и формально. Многие ее аспекты находят свое продолжение и развитие в прозаических произведениях последнего десятилетия. Как особо интересный пример такой связи назову произведения ленинградского писателя Михаила Кураева Капитан Дикштейн (1987) и Ночной дозор (1988).

MAN ADN HISTORY IN THE MODERN SOVIET PROSE: V. MAKSIMOV, J. TRIFONOV, J. DOMBROVSKI, A. BITOV

by

JANINA SAŁAJCZYKOWA

Summary

The author presents first in brief the manner of formation of the subject "man and history" during half a century of the Russian Soviet literature. She claims that beginning with the 60's the conception of historical imperative has been opposed by the subjective vision of the history of an individual who fights for his independence. As a result the new literature in the Russian language tends towards demythologization of the consciousness of the Soviet society which finds its full expression just in the contemporary Russian psychological-moral prose which also uses a wide scale of means of expression. This prose, which is proven by the analysis of the author, is particularly important from the intellectual and artistic point of view.